УБИЙСТВО КОМАНДАРМА

Б. ПИЛЬНЯК





Б. ПИЛЬНЯК

УБИЙСТВО КОМАНДАРМА

BORIS PILNYAK

THE MURDER OF THE ARMY COMMANDER

TALE OF THE UNEXTINGUISHED MOON

Edited by

V. Chuguev

FLEGON PRESS

LONDON 1965.

БОРИС ПИЛЬНЯК

УБИЙСТВО КОМАНДАРМА

ПОВЕСТЬ НЕПОГАШЕННОЙ ЛУНЫ

Редактор
В. Чугуев

ФЛЕГОН ПРЕСС

ЛОНДОН, 1965

THE MURDER OF THE ARMY COMMANDER



24 Chancery Lane,

London, W. C. 2.

Printed in the U. K. for Flegon Press by

U. P. Ltd., 200 Liverpool Rd., London, N. 1.

ПРЕДИСЛОВИЕ

»Повесть непогашенной луны«, имеет свою историю. Впервые она была напечатана в московском журнале »Новый Мир« (1926), но еще до ее появления в печати, в литературных кругах Москвы было известно, что Борис Пильняк написал повесть, в которой прозрачно вывел обстоятельства смерти командарма Фрунзе, якобы отравленного хлороформом по распоряжению высшей власти.

Во вступлении к своей повести, между прочим, посвященной редактору »Красной Нови« Воронскому, Борис Пильняк счел нужным оговориться, что личность его героя Гаврилова не имеет ничего общего с Фрунзе и что поэтому не следует проводить аналогии между смертью командарма и героя повести.

Оговорка эта достигла совершенно обратных результатов. Первым выступил с письмом в редакцию сам Воронский, с негодованием заявивший, что он отвергает посвящение повести себе, ибо она »держит читателя в уверенности, что обстоятельства, при которых умер командарм — герой повести, соответствуют действительным обстоятельствам и фактам, сопровождавшим смерть тов. Фрунзе, что представляет собой злостную клевету на нашу партию«.

В следующем номере редакция »Нового Мира« признала, что помещение повести Пильняка было »явной и грубой ошибкой«. Номер »Нового Мира« с повестью Пильняка был конфискован, несмотря на то, что редактором журнала был комиссар народного просвещения — Луначарский.

В 1926 и 1932 годах Борис Пильняк посетил Японию в качестве представителя советских писателей, а в 1937 году был обвинен в шпионаже в пользу Японии и ликвидирован. Сейчас, в СССР, его имя постепенно реабилитируется.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

На рассвете над городом гудели заводские гудки. В переулках тащилась серая муть туманов, ночи, изморози, растворялась в рассвете — указывала, что рассвет будет невеселый, серый, изморозный. В этот час в типографиях редакций ротационки выбрасывали последние оттиски газет, и вскоре, — со дворов экспедиций, — по улицам рассыпались мальчишки с газетными кипами; один — другой из них на пустых перекрестках выкрикивал, прочищая глотку, так, как будет кричать весь день:

— Революция в Китае! К приезду командарма Гаврилова! Болезнь командарма!

И в этот час к вокзалу, куда приходят поезда с юга, пришел поезд. Это был экстренный поезд, в конце его сизо поблескивал синий салон-вагон, безмолвный, с часовыми на подножках, с опущенными портьерами за зеркальными стеклами окон. Поезд пришел из черной ночи, от полей, промотавших, роскошествуя, лето на зиму, ограбленных летом для того, чтобы стариться снегом. Поезд вполз под крышу вокзала медленно, не шумно, стал на запасный путь. На перроне было пустынно. У дверей, должно быть, случайно, стояли усилен-

ные наряды милиции с зелеными нашивками. Трое военных, с ромбами на руках, прошли к салон-вагону. Люди там обменялись честями, — эти трое постояли у подножки, часовой шептал что-то внутрь вагона, — тогда эти трое поднялись по ступенькам и скрылись за портьерами. В вагоне вспыхнул электрический свет. Два военных монтера закопошились у вагона и под крышей вокзала проводили телефонные провода в вагон. Еще подошел человек к вагону, в демисезонном стареньком пальто и, — не по сезону, — в меховой шапке-ушанке. Этот человек никакой чести не отдавал, и ему не отдали чести, — он сказал;

— Скажите Николаю Ивановичу, что пришел Попов.

Красноармеец посмотрел медленно, осмотрел Попова, проверил его несвежие башмаки и медленно ответил:

— Товарищ командарм еще не вставали.

Попов дружески улыбнулся красноармейцу, почему-то перешел на ты, сказал дружески:

— Ну, ты, братишка, ступай, ступай, скажи ему, что пришел, дескать, Попов.

Красноармеец пошел, вернулся. Тогда Попов полез в вагон. — В салоне, потому что были опущены занавеси и горело электричество, застряла ночь. На столе около настольной лампы лежала раскрытая книга и около нее тарелка с недоеденной манной кашей, — и за кашей — расстегнутый

кобур кольта с ременным шнурком, легшим змейкой. На другом конце стола стояли раскупоренные бутылки. Трое военных, с ромбами на рукавах, сидели в стороне от стола в кожаных креслах вдоль стены, сидели очень скромно, на-вытяжку — безмолствовали, с портфелями в руках. Попов пролез за стол, снял пальто и шапку, положил их рядом с собой, взял раскрытую книгу, посмотрел. Приходил ко всему на свете равнодушный проводник, убрал со стола; бутылки поставил куда-то в угол; смел на подносик корки гранатов; — постелив на стол скатерть, поставил на нее одинокий стакан в подстаканнике, тарелку с черствым хлебом, рюмку для яиц; — принес на тарелочке два яйца, соль, пузыречки с лекарствами; отогнул угол портьеры, посмотрел на утро, — раздвинул портьеры на стеклах окон, шнурки портьер прожикали сиротливо, — потушил электричество; и в салон залезло серое, в изморози осеннее утро. Лица у всех в этом мутном утре были желты, — жиденький, водянистый свет походил на сукровицу. В дверях, рядом с проводником, стал ординарец: походная канцелярия уже работала, прозвонил телефон.

Тогда из купэ-спальни в салон прошел командарм. Это был невысокий, широкоплечий человек, белокурый, с длинными волосами, зачесанными назад. Гимнастерка его, на рукаве которой было четыре ромба, сидела нескладно, помятая, сшитая из солдатского зеленого сукна. Сапоги со шпорами, хоть и были вычищены тщательнейше, стоптанными

своими каблуками указывали на многие свои труды. Это был человек, имя которого сказывало о героике всей гражданской войны, о тысячах, десятках тысяч, сотнях тысяч людей, стоявших за его плечами, — о тысячах, десятках и сотнях тысяч смертей, страданий, калечеств, холода, гололедиц и зноя походов, о громе пушек, свисте пуль и ночных ветров, — о кострах в ночи, о походах, о победах и бегствах, вновь о смерти. Это был человек, который командовал армиями, тысячами людей, — который командовал людьми, победами, смертью: порохом, дымом, ломаными костями, рваным мясом, — теми победами, которые сотнями красных знамен и многочисленными толпами шумели в тылах, радио о которых облетало весь земной шар, — теми победами, после которых, — на российских песчаных полях, — рылись глубокие ямы для трупов, ямы, в которые сваливались кое-как тысячи человеческих тел. Это был человек, имя которого обросло легендами войн, полководческих доблестей, безмерной храбрости, отважества, стойкости. Это был человек, который имел право и волю посылать людей убивать себе подобных и умирать.

В салон прошел невысокий, широкоплечий человек с добродушным, чуть-чуть усталым лицом семинара. Он шел быстро, и его походка одновременно сказывала в нем и кавалериста, и очень штатского, никак не военного человека. Трое штабистов стали перед ним во фронт. Командарм прио-

становился перед ними, руки не подал, сделал тот жест, который позволял им стоять вольно. И так, стоя перед ними, командарм принял от них рапорты: каждый из этих троих выступал вперед, становился во фронт и рапортовал — »во вверенном мне« — »служба революции«. — Каждому отрапортовавшему командарм жал руки, по порядку, должно быть, не слушая рапортов. Тогда он сел перед одиноким стаканом, и проводник возник рядом, чтобы налить из блестящего чайника чая. Командарм взял яйцо.

— Как дела? — спросил попросту, без рапортов, командарм.

Один из троих заговорил, сообщил новости, и тогда спросил в свою очередь:

— Как ваше здоровье, товарищ Гаврилов?

Лицо командарма сделалось на минуту чужим, он сказал недовольно:

— Вот, был на Кавказе, лечился. Теперь поправился, — помолчал. Теперь здоров. — Помолчал. — Распорядитесь там, никаких торжеств, никаких почетных караулов, вообще... — Помолчал. — Вы свободны, товарищи.

Трое штабистов поднялись, чтобы уйти. Командарм, не поднимаясь, каждому из них подал руку, — те вышли из салона бесшумно. — Когда в салон входил командарм, Попов не поклонился ему, — взял книгу и отвернулся с ней от командарма,

перелистывал. Командарм одним глазом взглянул на Попова и тоже не поклонился, сделал вид, что не заметил человека. — Когда штабисты ушли, — не приветствуя, точно они виделись вчера вечером, командарм спросил Попова:

— Хочешь чаю, Алешка, или вина?

Но Попов не успел ответить потому, что вперед выступил ординарец, зарапортовал, — »товарищ командарм«, — о том, что автомобиль снят с платформы, в канцелярию поступили пакеты. — один пакет из дома № первый, привез его секретарь, секретный пакет, — о том, что квартира приготовлена в штабе — что кипа пришла телеграмм и бумаг с поздравлениями. — Командарм отпустил ординарца, сказал, что жить останется в вагоне. Проводник, не дожидаясь ответа Попова, поставил на стол стакан для чая и стакан для вина. Попов вылез из своего угла, подсел к командарму.

— Как твое здоровье, Николаша? — спросил Попов, заботливо, так, как спрашивают братья.

— Здоровье мое — как следует, совсем наладилось, здоров, — а вот, чего доброго, придется тебе стоять у моего гроба в почетном карауле, — ответил Гаврилов, не то шутя, не то серьезно: — во всяком случае — невеселой шуткой.

Эти двое, Попов и Гаврилов, были связаны старинной дружбой, совместной подпольной работой, совместной работой на фабрике, тогда, далеко в

молодости, когда они начинали свои жизни орехово-зуевскими ткачами; потом была совместная — богородская — тюрьма, — и дальше — бытие революционера-профессионала — ссылка, побег, подполье, Таганская пересыльная, ссылка, побег, эмиграция, Париж, Вена, Чикаго; — и тогда тучи Четырнадцатого года, Бриндизи, Салоники, Румыния, Киев, Москва, Петербург, — и тогда: гроза Семнадцатого года, Смольный, Октябрь, гром пушек над московским Кремлем, и — один начальник штаба красной гвардии в Ростове на Дону, а другой — предводитель пролетарского дворянства, как сострил Рыков, в Туле, для одного тогда — войны, командирство над пушками, людьми, смертями, — для другого — губкомы, исполкомы, ВСНХ, конференции, собрания и доклады: для обоих — все, вся жизнь, все мысли — во имя величайшей в мире революции, величайшей в мире справедливости и правды. Но всегда один другому — Николаша, — один другому — Алексей, Алешка, — навсегда товарищи-ткачи, без чинов и регламентов,

— Ты мне расскажи, Николаша, как твое здоровье? — спросил Попов.

— Видишь ли, у меня была, а, может быть, и есть язва желудка. Ну, знаешь, боли, рвота кровью, изжоги страшные, — так, гадость страшная, — командарм говорил негромко, наклонившись к Алексею. — Посылали меня на Кавказ, лечили, боли прошли, стал на работу, проработал полгода,

опять тошнота и боли, опять поехал на Кавказ. Теперь опять боли прошли, даже выпил для пробы бутылку вина... — Командар перебил себя: — Алешка, может, вина хочешь, вон там, под лавкой, — я привез тебе ящичишко, откупори!

Попов сидел, подперши голову ладонью, он ответил:

— Нет, я с утра не пью. Ты говори.

— Ну, вот, здоровье мое совсем в порядке. — Командарм помолчал. — Скажи, Алешка, — зачем меня вызвали сюда, не знаешь?

— Не знаю.

— Пришла бумага, — выехать прямо с Кавказа, — даже к жене не заезжал. — Командарм помолчал. — Чорт его знает, не могу придумать, в чем дело, в армии все в порядке, ни съездов, ничего.

Командарм говорил об армии, о войне, — и не замечал, должно быть, что, когда он говорил об армии, он переставал быть ткачем и становился полководцем и красным генералом красной армии; командарм говорил об Орехово-Зуеве и орехово-зуевских временах, — и не замечал, должно быть, как становился он ткачем, — вот тем ткачем, который тогда там полюбил заречную учительницу, чистил для нее сапоги и ходил босиком до школы, чтобы не пылились сапоги, и только в лесочке у школы обувался, — купил фантазию с бантом и шляпу а-ля-чорт-побери, — и все же дальше разговоров о книжечках никуда с учителкой не забрело,

не вышло у них романа, отвергла его учительница. Командарм — ткач был уютным, хорошим человеком, умевшим шутить и видеть смешное, — и он шутил, разговаривая с другом; — лишь изредка спохватывался командарм, делался неспокойным: вспоминал о непонятном вызове, неловко двигался и говорил тогда здоровым ткачем о больном командарме: — »Вельможа, фельдмаршал, сенатор, — тоже! — а гречневой каши есть не могу . . . да, брат, Цека играет человеком, — из песни слова не выкинешь« — и отмалчивался.

— Николаша, ты толком скажи, что ты подозреваешь? — сказал Попов. Что это ты болтал про почетный караул?

Командарм ответил не сразу, медленно:

— В Ростове я встретил Потапа (он — партийной кличкой — назвал крупнейшего революционера из »стаи славных« Осьмнадцатого года), — так вот, он говорил . . . убеждал меня сделать операцию, вырезать язву, или зашить ее, что ли, — подозрительно убеждал! — Командарм смолк. — Я чувствую себя здоровым, против операции все мое нутро противится, не хочу, — так поправлюсь. Болей, ведь, нет уже никаких, и вес увеличился, и . . . чорт знает, что такое, — взрослый человек, старик уже, вельможа, — а смотрю себе в брюхо! Стыдно. — Командарм помолчал, взял раскрытую книгу. — Толстого читаю, старика, »Детство и отрочество«, — хорошо писал старик, бытие чувствовал, кровь . . .

Крови я много видел, а... а операции боюсь, как мальчишка, не хочу, зарежут!.. Хорошо старик про кровь человеческую понимал.

Вошел ординарец, стал во фронт, отрапортовал, — о том, что из штаба приехали с докладом, что пришла машина за командармом из дома № первый, просят пожаловать туда, — что новые пришли телеграммы, — что от такого-то прислали за посылкой с юга. Ординарец положил на стол кипу газет. Командарм отпустил ординарца. Командарм распорядился приготовить шинель. Командарм раскрыл газету. Там в газете, где сообщаются важнейшие события дня, значилось: — »Приезд командарма Гаврилова«, — и на третьей странице было сообщено, что »сегодня приезжает командарм Гаврилов, временно покинувший свои армии для того, чтобы оперировать язву в желудке«. В этой же заметке сообщалось, »что здоровье товарища Гаврилова вызывает опасения«, но что »профессора ручаются за благоприятный исход операции«.

Старый солдат революции, солдат, командарм, полководец, который посылал тысячи людей умирать, завершение военной машины, предзначенной убивать, умирать и побеждать кровью, — Гаврилов откинулся на спинку стула, вытер рукой лоб, пристально посмотрел на Попова, сказал:

— Алешка, слышишь? — это неспроста! — Д-да. Что же делать? — и крикнул: — Вестовой, шинель!

ГЛАВА ВТОРАЯ

На перекрестке двух главных улиц города, там, где бесконечной вереницей текли автомобили, люди, ломовики — стоял за палисадом дом с колоннами. Вывески на этом доме не было никакой. У ворот этого дома — у ворот с грифами — стояли два часовых в шлемах. Мимо этого дома текли люди, гудки автомобилей, толпа, человеческое время, тек серый день, газетчики, люди с портфелями, женщины с юбками до колен и в чулках, обманывающих глаз так, точно ноги женщин голы: — за грифами ворот время покойствовало и останавливалось. — И другой стоял дом в другом конце города, также классической архитектуры, за палисадом, за колоннами, с крыльями флигелей, со страшными рожами мифологической ерунды на барельефах. Ворот к этому дому было двое, на воротах корчили рожи фавны, у ворот разместились сторожки и на скамейках у сторожек сидели сторожа, в фартуках, в валенках, с медными бляхами на фартуках. У ворот стоял закрытый автомобиль, черный, с красными крестами и с надписью — »скорая помощь«.

В этот день в передовице крупнейшей газеты печаталось — »к трехлетию червонной валюты«,

— указывалось, что твердая валюта может существовать« только тогда, когда вся хозяйственная жизнь будет построена на твердом хозяйственном расчете, на твердой экономической базе. Дотации и ведение народного хозяйства несоразмерно своему бюджету неминуемо расстроят твердую финансовую систему«. — Крупным заголовком стояли: — »Борьба Китая против империалистов«. — В зарубежном отделе были телеграммы из Англии, Франции, Германии, Чехословакии, Латвии, Америки. — Была напечатана — подвалом — большая статья

— »Вопрос о революционном насилии«. — И было две страницы объявлений, где печаталось крупнейше: — »Правда жизни — сифилис«. — Новая книга С. Бройде »В сумасшедшем доме«.

В полдень к дому номер первый, к тому, что замедлил время, подошел закрытый ройс. Часовой открыл дверцу, из лимузина вышел командарм.

В кабинете, в дальнем конце дома, окна были полуприкрыты гардинами, и за окнами бежала улица; в кабинете горел камин; на столе в кабинете — на красном сукне — стояли три телефонных аппарата, чтобы утвердить тишину совместно с потрескивающими в камине поленьями; три телефонных аппарата — три городских артерии приводили в кабинет, чтобы из тишины командовать городом, знать о городе, о всех его артериях. В кабинете, на письменном столе, массивный, из бронзы, стоял письменный прибор и в подставке для перьев воткнута была дюжина красных и синих карандашей. На

стене в кабинете, за письменным столом, был прилажен радио-приемник с двумя парами наушников и ротой во фронт выстроилась система электрических звонков — от звонка в приемную — до звонка »военной тревоги«. Против письменного стола стояло кресло — За письменным столом в кабинете на деревянном стуле сидел негорбящийся человек. Гардины на окнах были полуприкрыты, и под зеленым абажуром на письменном столе горело электричество, — и лица этого негорбящегося человека не было видно в тени.

Командарм прошел по ковру и сел в кожаное кресло.

Первый, негорбящийся человек:

— Гаврилов, не нам с тобой говорить о жернове революции. Историческое колесо, — к сожалению, я полагаю, — в очень большой мере движется смертью и кровью, — особенно колесо революции. Не мне и тебе говорить о смерти и крови. Ты помнишь, как мы вместе с тобой вели голых красноармейцев на Екатеринов. У тебя была винтовка, и винтовка была у меня. Снарядом под тобой разорвало лошадь, и ты пошел вперед пешком. Красноармейцы бросились назад и ты пристрелил одного из нагана, чтобы не бежали все. Командарм, ты застрелил бы и меня, если бы я струсил, и ты был бы , я полагаю, прав.

Второй, командарм:

— Эк, как ты тут обставился, совсем министр,

— у тебя здесь курить можно? — я окурков не вижу.

— Не кури, не надо. Тебе здоровье не позволяет. Я сам не курю.

Второй, — строго, быстро:

— Говори без предисловий, — зачем вызвал? — Не к чему дипломатить. Говори!

— Я тебя позвал потому, что тебе надо сделать операцию. Ты необходимый революции человек. Я позвал профессоров, они сказали, что через месяц ты будешь на ногах. Этого требует революция. Профессора тебя ждут, они тебя осмотрят, все поймут. Я уже отдал приказ. Один даже немец приехал.

Второй:

— Ты, как хочешь, а я все таки закурю. — Мне мои врачи говорили, что операции мне делать не надо, и так все заживет. Я себя чувствую вполне здоровым, никакой операции не надо, не хочу.

Первый — сунул руку назад, нащупал на стене кнопку звонка, позвонил — вошел бесшумный секретарь, — первый спросил: — »есть кто на очереди к приему«? — секретарь ответил утвердительно. Первый ничего не ответил, отпустил секретаря.

Первый:

— Товарищ командарм, ты помнишь, как мы обсуждали, послать или не посылать четыре тысячи людей на верную смерть? Ты приказал по-

слать. Правильно сделал. — Через три недели ты будешь на ногах. — Ты извини меня, я уже отдал приказ.

Звонил телефон, не городской, внутренний, тот, который имел всего навсего каких нибудь тридцать — сорок проводов. Первый снял трубку, слушал, переспросил, сказал: — »Ноту французам? Конечно, официально, как говорил вчера. — Ты понимаешь, помнишь мы ловили форелей, — французы очень склизкие. — Как? — да, да, — подвинти! — Пока«.

Первый:

— Ты извини меня, говорить тут не о чем, товарищ Гаврилов.

Командарм докурил папиросу, всунул окурок к синим и красным карандашам, — поднялся из кресла,

Командарм:

— Прощай.

Первый.

— Пока.

Командарм красными коврами вышел к подъезду, ройс унес его в шум улиц. — Негорбящийся человек остался в кабинете. Никто больше к нему не приходил. Не горбясь, сидел он над бумагами, с красным, толстым карандашем в руках. Он позвонил, — вошел секретарь, — он сказал: — »распорядись убрать окурок, вот отсюда, из этой подставки!« — и опять забезмолствовал над бумагами, с

красным карандашем в руках. Прошли час и другой, человек все сидел над бумагами, работал. Однажды звонил телефон, он слушал и ответил: — »Два миллиона рублей калошами и мануфактурой для Туркестана, чтобы заткнуть бестоварную дыру? — да, само собою! — Да, валяй! — Пока«. — Входил бесшумно коридорный человек, поставил на столике у окна поднос со стаканом чая и куском холодного мяса, прикрытым салфеткой, ушел. — Тогда негорбящийся человек вновь позвонил секретарю, спросил: — »секретная сводка готова«? — Секретарь ответил утвердительно, — »принесите«. — И вновь надолго человек забезмолствовал над большим листом, над рубриками Наркоминдела, Полит-и Эконом отделов ОГПУ, Наркомвнешторга, Наркомтруда. — Тогда в кабинет вошли — один и другой — люди из той тройки, которая вершила.

В четыре часа — к дому номер два, на окраину, подъезжало несколько автомобилей. Дом кутался во мрак, точно мрак мог согреть промозглую сырость. — У ворот дома стали два милиционера, рядом со сторожами в фартуках и валенках. У дверей в парадный ход стали два милиционера. Краском, с двумя орденами Красного знамени, гибкий как лозина, — с двумя красноармейцами — вошел в подъезд. — Краскома с красноармейцами в прихожей встретил человек в белом халате. — »Да, да, да, знаете ли«. Комната была велика и пуста. Посреди нее расставился стол в белой клеенке и

вокруг стола стояли — казенного образца, как на железных дорогах — клеенчатые стулья с высокими спинками. У стены поместился клеенчатый диван, покрытый простыней, у дивана деревянный табурет. В углу, над раковиной, на стеклянной полке расставлены были пузырьки с разными номенклатурами, бутылища с сулемой, банка с зеленым мылом, — висели около желтые, неподсиненные полотенца. С первыми автомобилями приехали профессора, терапевты, хирурги.

Люди входили, здоровались, — встречал их — хозяином — высокий человек, бородатый, добродушнолицый, лысый.

К нему навстречу прошел профессор Лозовский, человек лет тридцати пяти, бритый, в сюртуке, в пенснэ с прямою перекладиной, с глазами, влезшими в углы глазниц.

— Да, да, да, знаете ли.

Бритый человек передал волосатому разорванный конверт с сургучною печатью. Волосатый человек вынул лист бумаги, поправил очки, прочел, — опять поправил очки, недоуменно передал лист третьему.

Бритый человек, торжественно:
— Как видите, секретная бумага, почти приказ. Ее прислали мне утром. Вы понимаете?

Первый, второй, третий, — отрывки разговоров, негромко, поспешно:
— При чем же тут консилиум?

— Я приехал по экстренному вызову. Телеграмма пришла на имя ректора университета.

— Командарм Гаврилов, знаете, тот, который...

— Да, да, да, знаете ли, революция, командир армии, формула, и — пож-жалуйте.

— Консилиум.

Электричество здесь падало резко вырезанными тенями. — Один другого взял за пуговицу нагрудного кармана у халата; один другого взял под руку, чтобы пройтись...

Тогда: — в дверях громыхнули винтовки красноармейцев, топнули каблуки, — красноармейцы умерли в неподвижности; в дверях появился высокий, как лозина, юноша с орденами Красного знамени на груди, гибкий, как хлыст, стал во фронт перед дверью, — и быстро вошел в приемную командарм, откинул рукой волосы назад, поправил ворот гимнастерки, — сказал:

— Здравствуйте, товарищи! Прикажете раздеваться?

Тогда: — профессора медленно сели на клеенчатые стулья за стол, положили локти на стол, размяли руки, поправили очки и пенснэ, попросили сесть больного. Тот, который передал пакет, у которого глаза под прямым пенснэ вросли в глазницы, сказал волосатому:

— Павел Иванович, вы, как primus inter pares, я полагаю, не откажетесь председательстовать.

— Прикажете раздеваться? — спросил командарм и взялся рукой за ворот.

Председатель консилиума, Павел Иванович, сделав вид, что он не слышал вопроса командарма, медленно сказал, садясь на председательское место:

— Я полагаю, мы спросим больного, когда он почувствовал приступы болезни и какие патологические признаки указали ему на то, что он болен. Потом мы осмотрим больного.

От этого совещания профессоров остался лист бумаги, исписанный неразборчивым профессорским почерком.

Протокол консилиума, в составе профессора такого-то, профессора такого-то, профессора такого-то (так семь раз).

Больной гражданин Николай Иванович Гаврилов, поступил с жалобой на боль в подложечной области рвоту, изжогу. Заболел два года назад незаметно для себя. Лечился все время амбулаторно и ездил на курорты, — не помогало. По просьбе больного, был созван консилиум из вышеозначенных лиц.

Status praesens: Общее состояние больного удовлетворительно. Легкие — N. Со стороны сердца наблюдается небольшое расширение, учащенный пульс. В слабой форме neurastenia. Со стороны других органов, кроме желудка, ничего патологического не наблюдается. Установлено, что у боль-

ного, повидимому, имеется ulcus venticuli и его необходимо оперировать.

Консилиум предлагает больного оперировать профессору Анатолию Козьмичу Лозовскому. Профессор Павел Иванович Кокосов дал согласие ассистировать при операции.

Город, число, семь подписей профессоров.

Впоследствии, уже после операции, из частных бесед было установлено, что ни один профессор, в сущности, совершенно не находил нужным делать операции, полагая, что болезнь протекает в форме операции нетребующей, но на консилиуме тогда об этом не говорилось; лишь один молчаливый немец сделал предположение о ненужности операции, впрочем не настаивая на нем после возражений коллег; да рассказывали еще, что уже после консилиума, садясь в автомобиль, чтобы ехать в дом ученых, профессор Кокосов, тот, у которого глаза заросли в волосах, сказал профессору Лозовскому: — »ну, знаете ли, если бы такая болезнь была у моего брата, я не стал бы делать операции«, — на что профессор Лозовский ответил: — »да, конечно, но... но, ведь, операция-то безопасная«... — Автомобиль зашумел, пошел.

* *
*

Негорбящийся человек в доме номер первый все еще сидел в своем кабинете. Окна были глухо закрыты занавесами. Вновь горел камин. Дом замер в тишине, точно эту тишину копили столетием. Человек сидел на деревянном своем стуле. Теперь перед ним были открыты толстые книги на немецком и английском языках, — он писал — по-русски, чернилами, прямым почерком, в немецком Lainen Post. — Те книги, что были раскрыты перед ним, были книгами о государстве, праве и власти. — В кабинете падал с потолка свет, и теперь видно было лицо человека: оно было очень обыденно, — быть может, чуть-чуть черство, — но, во всяком случае, очень сосредоточенно и никак не утомленно; — человек над книгами и блокнотом сидел долго. Потом он звонил и к нему пришла стенографистка. Он стал диктовать. Вехами его речи были — СССР, Америка, Англия — земной шар и СССР, английские стерлинги и русские пуды пшеницы, — американская тяжелая индустрия, китайские рабочие руки. — Человек говорил громко и твердо, и каждая его фраза была формулой.

Над городом шла луна.

В этот час командарм сидел у Попова, в гостиничном номере большой гостиницы, населенной исключительно коммунистами. Их сидело трое — Гаврилов, сидел у стола, и на коленях у него гомозилась Наташка. Гаврилов зажигал спички; удив-

ленно, как могут удивляться таинственному в мире только дети, Наташка смотрела на огонь, — складывала трубкой губы и дула на огонь, не сразу хватало дыхания потушить спичку, потом спичка тухла, — и тогда столько изумления, восторга и страха перед таинственным было в голубых глазах Наташи, что нельзя было не зажечь новой спички, — нельзя было не склонить голову перед тем таинственным, что самою собою несла Наташа. — Потом Гаврилов укладывал Наташку спать, сел около ее постельки, сказал: — »ты закрой глаза, а я буду тебе песню петь«, — и запел, не умея петь, не зная никакой песни, придумывая песню здесь же:

»Пришел козел, сказал:
А ты спи, спи, спи, спи, спи«.

Улыбнулся, хитро посмотрел на Наташу и на Попова, и пропел то, что впервые пришло ему на ум из созвучья слов »спи, спи спи«, — запел:

»Пришел козел, сказал:
А ты спи, спи, спи, спи, спи...
Но не пис, пис, пис, пис«...

Наташа открыла глаза, улыбнулась, а Гаврилов так и пел эти две последние строчки неумелым голосом (плохо, в сущности, пел), пока не заснула Наташа.

Тогда Гаврилов и Попов вдвоем пили чай.

Попов спрашивал: — »не сварить ли тебе, Николка, манной каши«?

Сидели друг против друга, говорили негромко, медленно, никуда не спешили, чаю выпили много, Гаврилов пил с блюдечка, расстегнув ворот гимнастерки. После мелочей, о том, о сем, за вторым стаканом чая, не допив половины, Попов отставил стакан, помолчав, сказал:

— Николка, а моя Зина от меня ушла, ребенка бросила мне на руки, ушла к какому-то инженеру которого раньше любила, шут его знает. Судить ее мне не охота, не хочу мараться плохими словами, — а, все таки, надо сказать, убежала по-сучьи, не сказав, скрыв. И самому мне стыдно, — подобрал человека в яме, на фронте, заботился, любил и, как дурак, грел человека, — а он оказался барынькой, — проглядел человека, который со мной пять лет прожил... — И Попов подробно рассказывал о всех мелочах расхождения, которые всегда так мучительны именно своею мелочностью, той мелочью, за которой не видно большого. Тогда стали говорить о детях, и Гаврилов рассказывал о своей семейной жизни, о троих своих сынишках, о своей жене, которая уже постарела и, все же, единственная на всю жизнь для Гаврилова.

Уезжая, командир сказал:

— Ты мне дай почитать чего-нибудь, только, знаешь, попроще, про хороших людей, про хорошую любовь, что нибудь вроде »Детства и Отрочества«, — сказал Гаврилов.

У Попова горами были свалены по всем углам книги, — но простой книги о простой человеческой

любви, о простых отношениях, о простой жизни, о солнце, людях и о простой человеческой радости — такой книги не нашлось у Попова.

Вот тебе и революционная литература — сказал, пошутив, Гаврилов. — Ну, ладно, я еще раз прочитаю Толстого. Уж очень хорошо у него там про старые перчатки на балу. — И Гаврилов потемнел, замолчал, сказал тихо: — Я тебе, Алешка, не говорил, чтобы на пустые разговоры время не тратить. Был я сегодня и по начальству, и в больнице, у профессоров. Профессорье умственность разводило. Не хочу резаться, естественно, против. Завтра мне ложиться под нож. Ты тогда приходи в больницу, не забывай старину. Детишкам моим и жене ничего не пиши. Прощай! — и Гаврилов вышел из комнаты, не пожав руки Попова.

У гостиницы стояла крытая машина. Гаврилов сел, молвил: — »домой, в вагон«, — и машина пошла в переулки. — На запасных путях луна скользила по рельсам; пробежала собака, визгнула и скрылась в простор черной рельсовой тишины. У ступенек вагона стоял часовой, замер, пока проходил командарм. Вырос в коридоре ординарец, высунул голову проводник, — вспыхнуло в вагоне электричество, — и такая безмолвная, голубая, провинциальная тишина стала в вагоне. Командарм прошел в купэ-спальню, снял сапоги, надел ночные туфли, расстегнул ворот гимнастерки, — позвонил, — »чаю«. — Прошел в салон, сел к настольной лампе; проводник принес чаю, но командарм не

прикоснулся к нему; командарм долго сидел над книгой, над »Детством и Отрочеством«, читал, думал над книгой. Тогда командарм прошел в спальню, принес большой блокнот, позвонил, сказал своему вестовому: — »чернил, пожалуйста«, — и медленно стал писать, думая над каждой фразой. Написал одно письмо, перечитал, обдумал, заклеил в конверт. Второе письмо написал, обдумал, заклеил. И третье письмо написал, очень короткое, писал торопясь, — запечатал, не перечитывая. В вагоне немотствующая стала тишина. Замер у подножки часовой. Замерли в коридоре ординарец и проводник. Замерло, казалось, время. Письма долго лежали перед командармом, в белых пакетах, с надписанными адресами. Тогда командарм взял большой пакет, все три письма запечатал в него и на пакете написал: — »вскрыть после моей смерти«.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

СМЕРТЬ ГАВРИЛОВА

Первый снег выпал в день смерти Гаврилова. Город затих белой тишиной, побелел, успокоился, и на деревьях за окнами осыпали снег синички, прилетевшие из-за города вместе со снегами.

Профессор Павел Иванович Кокосов всегда просыпался в семь утра, и в этот же час он проснулся в день операции.

Профессор высунул голову из под одеяла, отхаркался, потянулся волосатой рукою к ночному столику, привычно нашарил там очки, оседлал ими нос, вправив стекла в волосы. За окном на березе сорилась снегом синичка. Профессор надел халат, вставил ноги в домашние туфли и пошел в ванную.

В доме было тихо в тот час, когда проснулся профессор, но когда он, крякая, выходил из ванной, в столовой жена, Екатерина Павловна, шумела уже чайной ложечкой, размешивая профессору сахар в чае, и в столовой шумел самовар. Профессор вышел к чаю в халате и в туфлях.

— Доброе утро, Павел Иванович, — сказала жена.

— Доброе утро, Катерина Павловна, — сказал муж.

Профессор поцеловал у жены руку, сел против нее, удобнее устроил в волосах очки. Профессор в молчании хлебнул чаю, собравшись сказать что-то очередное. Но течение утреннего чайного обычая прервал телефон. Телефон был неурочен. Профессор строго посмотрел на дверь в кабинет, где звонил телефон, подозрительно посмотрел на жену, на эту стареющую уже, пухлую женщину в японском кимоно, встал и подозрительно пошел к телефону. В телефон пошли слова профессора сказанные особенно старческим голосом, ворчливо.

— Ну, ну, я слушаю вас. Кто звонит и в чем дело?

В телефон сказали, что говорят из штаба, что в штабе известно, что операция назначена на половина девятого, что из штаба спрашивают, не нужна ли какая-либо помощь, не надо-ль прислать за профессором автомобиль? — И профессор вдруг рассердился, засопел в трубку, заворчал.

— ...Я, знаете-ли, служу обществу, а не частным лицам, да, да, да, знаете-ли, ба-батенька, и в клиники я езжу на трамвае, ба-батенька. Я выполняю мой долг, извините, по моей совести. И сегодня не вижу причин не ехать на трамвае.

Профессор громко кинул трубку, оборвав разговор, зафыркал, засопел, вернулся к столу, к жене и чаю. Пофыркал, покусал усы, и очень скоро успокоился. Опять из-за очков стали видны глаза,

сейчас сосредоточенные и умные. Профессор сказал тихо:

— Захворает в деревне Дракины Лужи мужик Иван, будет три недели лежать на печи, потом помолится, покряхтит, посоветуется со всей родней и поедет в земскую больницу к доктору Петру Ивановичу. Петр Иванович знает Ивана пятнадцать лет, и Иван Петру Ивановичу перетаскал за эти пятнадцать лет полторы дюжины кур, перезнал всех детей Петра Ивановича, одному даже мальчишке уши драл на горохе. Иван приедет к Петру Ивановичу, поклонится курочкой. Петр Иванович посмотрит, послушает, — и, если надо, — сделает операцию, тихо, спокойно, толково и — не хуже, чем я сделаю. А если не заладится операция, помрет Иван, крест поставят, и все... Или даже ко мне — придет обыватель Анатолий Юрьевич Свинцицкий. Расскажет все до седьмого пота. Я его пересмотрю и пересмотрю семь раз, изучу его и скажу ему: — »идите, мол, батенька, живите с язвой, остерегайтесь, проживете с ней так пятьдесят еще лет, а если помрете — ну, что тут поделаешь, Бог подобрал, батенька!« Если скажет мне: — »сделайте операцию!« — сделаю, если не хочет — никогда не стану делать.

Профессор помолчал.

— Сегодня я ассистирую у себя в больнице при операции над большевиком, командиром армии Гавриловым.

— Этот тот, который, — сказала Екатерина Павловна, — который . . . ну, в большевистских газе-

тах... ужасное имя! А почему не вы оперируете, Павел Иванович?

— Ну, ничего особенно ужасного нет, конечно, — ответил профессор, — а почему Лозовский — сейчас время такое, молодые в моде, им выдвигаться надо. А все-таки, в конце концов, больного никто не знает после этих консилиумов, хоть его прощупывали, просвечивали, прочищали и просматривали все наши знаменитости. А самое главное — человека не знают, не с человеком имеют дело, а с формулою — генерал N. такой-то, про которого каждый день в газетах пишут, чтобы страх на людей наводить. И попробуй сделай операцию как-нибудь не так — по всем европам протащут, отца позабудешь.

Комната профессора Анатолия Козьмича Лозовского не была похожа на квартиру Кокосова. Если квартира Кокосова законсервировала в себе рубеж девяностых и девятисотых российских годов, то комната Лозовского возникла и консервировалась в лета от тысяча девятьсот седьмого до девятсот шестнадцатого. Здесь были тяжелые портьеры, широкий диван, бронзовые голые женщины в качестве подсвечников на дубовом письменном столе, стены затянуты были коврами и висели на коврах картинки, второй сорт с выставок »Мира Искусств«.

Лозовский спал на диване, и не один, а с молодой, красивою женщиной, — крахмальная его манишка валялась на ковре на полу. Лозовский проснулся, тихо поцеловал плечо женщины и бодро встал, дернул шнурок занавески. Тяжелая суконная за-

навесь поползла в угол, и в комнату пришел снежный день. Радостно, как могут глядеть очень любящие жизнь в самих себе, Лозовский посмотрел на улицу, на снег, на небо.

В это время позвонил телефон. Телефон у профессора висел над диваном, за ковром. Профессор взял трубку, — »да, да, вас слушают«. — В телефон говорили из штаба, спрашивали, не надо ли прислать за профессором автомобиль?

— Да, да, пожалуйста! Об операции нечего беспокоиться, она пройдет блестяще, я уверен. Насчет машины — пожалуйста, тем паче, что мне надо перед операцией заехать по делам. Да, да, пожалуйста, к восьми часам.

В день операции, утром, до операции, к Гаврилову приходил Попов. Это было еще до рассвета, при лампах, — но разговаривать не пришлось, потому что хожалка повела Гаврилова в ванную ставить последнюю клизму. Уходя в ванную, Гаврилов сказал:

— Прочти, Алеша, у Толстого в »Отрочестве« насчет ком-иль-фо и не ком-иль-фо. Хорошо старик кровь чувствовал! — это были последние слова перед смертью, которые слышал от Гаврилова Попов.

Перед операцией в коридоре от операционной до палаты Гаврилова поспешно ходили люди, шептались, бесшумно суматошились. Вечером перед операцией Гаврилову засовывали в пищевод гуттаперчевую кишку, сифон, которым выкачивают желудочный сок и промывают желудок, — такой

гуттаперчевый инструмент, после которого тошнит и угнетает психику, точно этот инструмент существует к тому, чтобы унижать человеческое достоинство. В утро перед операцией клизму поставили последний раз. В операционную Гаврилов пришел в больничном халате, в больничных грубого полотна портах и рубашке (у рубашки вместо пуговиц были завязочки), в больничных, за номером, туфлях на босу ногу (белье на Гаврилове переменили в это утро последний раз, надели на него стерильное) — пришел в операционную побледневшим, похудавшим, усталым.

В предоперационной шумели спиртовки, кипятились длинные никелевые коробки, безмолвствовали люди в белых халатах. Операционная была очень большой комнатой, сплошь — пол, стены, потолки — выкрашенной в белую масляную краску. В операционной было необыденно светло, ибо одна стена была сплошным окном, и это окно уходило в заречье. Посреди комнаты стоял длинный, белый — операционный — стол. Здесь Гаврилова встретил Кокосов и Лозовский. И Кокосов и Лозовский, в белых халатах, надели на головы белые колпаки, подобно поварам, а Кокосов еще завесил слюнявкой бороду, оставив наружу волосатые глаза. Вдоль стены стоял десяток людей в белых халатах.

Гаврилов с хожалкой вошел в комнату спокойно, молча поклонился профессорам и прошел к столу, посмотрел в окно на заречье, руки скрестил на спине. Вторая хожалка внесла на крючке кипя-

щий стерилизатор с инструментами, длинную никелевую коробку.

Лозовский спросил Кокосова шопотом:

— Приступим, Павел Иванович?

— Да, да, знаете ли, — ответил Кокосов.

И профессора пошли мыть, — еще и еще раз, — руки, поливать их сулемой, мазать иодом. Хлороформатор просмотрел маску, потрогал свой пузырек.

— Товарищ Гаврилов, приступим, — сказал Лозовский. — Извольте, будьте добры, лечь на стол. Туфли снимите.

Гаврилов посмотрел на сестру, чуть-чуть смущенно одернул рубашку, — она взглянула на Гаврилова, как на вещь, и улыбнулась, как улыбаются ребенку. Гаврилов сел на стол, скинул одну туфлю, потом другую, и быстро лег на стол, поправив под головой валик — закрыл глаза. Тогда быстро, привычно и ловко хожалка застегнула ремни на ногах, прикрутила человека к столу. Хлороформатор положил на глаза полотенце, обмазал нос и рот вазелином, надел на лицо маску, взял руку больного, чтобы слушать пульс и полил маску хлороформом — по комнате поплыл сладкий, вяжущий запах хлороформа.

Хлороформатор отметил час начала операции. Профессора отошли к окну, молча. Сестра щипцами стала выкладывать, раскладывать на стерильной марле скальпели, стерильные салфетки, пеаны, кохеры, пинцеты, иглы, шелка. Хлороформатор

подливал хлороформ. В комнате застыла тишина. Тогда больной замотал головой, застонал.

— Нечем дышать, снимите повязку, — сказал Гаврилов и лязгнул зубами.

— Повремените, пожалуйста, — ответил хлороформатор.

Через несколько минут больной запел и заговорил.

— Лед прошел, и Волга вскрылась, золотой мой, золотой, я девчоночка, влюбилась, — пропел командарм и зашептал: — а ты спи, спи, спи. — Помолчал, сказал строго. — А клюквенного киселя мне не давайте никогда больше, надоело, это не ком-иль-фо. — Помолчал, крикнул строго, так, должно быть, как кричал в боях: — Не отступать! Ни шагу! Расстреляю!.. Алешка, брат! — скорости все открыты, земли уже не видно. Я все помню. Тогда я знаю, что такое революция, какая это сила. И мне не страшна смерть. — И опять запел: — За Уралом живет плотник, золотой мой, золотой...

— Как вы себя чувствуете? Вам не хочется спать? — спросил тихо Гаврилова хлороформатор.

И Гаврилов обыкновенным голосом, тоже тихо, заговорщически, ответил:

— Ничего особенного, нечем дышать.

— Повремените еще немного, — сказал хлороформатор и подлил хлороформа.

Кокосов озабоченно посмотрел на часы, склонился над скорбным листом, перечитал его.

Есть организмы, которые к тем или иным нарко-

тикам чувствуют идиосинкразию. Гаврилова уже усыпляли двадцать семь минут.

Кокосов подозвал младшего ассистента, подставил ему лицо, чтобы тот поправил очки на носу профессора. Хлороформатор озабоченно прошептал Лозовскому:

— Быть может, отставить хлороформ — попробовать эфир?

— Попробуем еще хлороформом. В противном случае операцию придется отложить. Неудобно.

Кокосов строго посмотрел кругом, озабоченно опустил глаза. Хлороформатор подлил хлороформу. Профессора молчали.

Гаврилов окончательно заснул на сорок восьмой минуте. Тогда профессора последний раз протерли спиртом руки. Хожалка обнажила живот Гаврилова, на свет выглянули худые ребра и подтянутый живот.

Поле операции, — подложечную область, — широкими мазками, спиртом, бензином и иодом протер профессор Кокосов. Сестра подала простыни, чтобы прикрыть простынями ноги и голову Гаврилова. Сестра вылила на руки профессора Лозовского пол банки иоду.

Лозовский взял скальпель и провел им по коже. Брызнула кровь, и кожа расползлась в стороны; из под кожи вылез желтый, как на баранине, лежащий слоями, с прослойками кровяных сосудов, жир. Лозовский еще раз порезал человеческое мясо, разрезал фасции, блестящие, белые, просло-

енные лиловатыми мышцами. Кокосов пеанами и кохерами, — неожиданно ловко для его медвежества, — зажимал кровоточащие сосуды.

Другим ножом Лозовский прорезал пузырь брюшины. Лозовский оставил нож, стерильными салфетками стер кров. В разрезе внутри видны были кишки и молочно-синий мешок желудка. Лозовский опустил свою руку в кишки, повернул желудок, обмял его.

На блестящем мясе желудка, в том месте, где должна была быть язва — белый, точно вылепленный из воска, похожий на личину навозного жука — был рубец, указывающий, что язва уже зажила, указывающий, что операция была бесцельна.

Но в этот момент, в этот момент, в тот момент, когда желудок Гаврилова был в руках профессора Лозовского . . .

— Пульс! Пульс! — крикнул хлороформатор.

— Дыхание! — казалось, машинально поддакнул Кокосов.

И тогда можно было видеть, как из-за волос и из-за очков вылезли очень злые, страшно злые глаза Кокосова, вылезли и расползлись в стороны, а глаза Лозовского, сидящие в углах глазниц, давя на переносицу, еще больше сузились, ушли вглубь, срослись в один глаз, страшно острый.

У больного не было пульса, не билось сердце и не было дыхания, и холодали ноги.

Это был сердечный шок: организм, непринимавший хлороформа, был хлороформом отравлен. Это было то, что категорически указывало, что человек никогда уже не встанет к жизни, что человек должен умереть, что искусственным дыханием, кислородом, камфорой, физиологическим раствором — окончательную смерть можно отодвинуть на час, на десять, на тридцать часов, не больше, что к человеку не придет сознание, что человек, в сущности — умер.

Было ясно, что Гаврилов должен умереть под ножем, на операционном столе.

Профессор Кокосов повернул к хожалке свое лицо, сунул его вперед, чтобы хожалка поправила профессору очки, профессор крикнул:

— Откройте окно! Камфоры! Физиологический наготове!

Безмолвная толпа ассистентов стала еще безмолвней. Кокосов, точно ничего не произошло, склонился над инструментами у столика, осмотрел инструменты, молчал. Лозовский также склонился около Кокосова.

— Павел Иванович, — сказал шопотом и злобно Лозовский.

— Ну? — ответил Кокосов громко.

— Павел Иванович? — еще тише сказал Лозовский, теперь уже никак не злобно.

— Ну? — громко ответил Кокосов и сказал: — продолжайте делать операцию!

Оба профессора выпрямились, поглядели друг на друга, у одного два глаза срослись в один, у другого

глаза вылезли из волосьев. Лозовский на момент отклонился от Кокосова, точно от удара, точно хотел найти перспективу, глаз его раздвоился, заблуждал, — потом слился еще четче, острее, — Лозовский прошептал:

— Павел Иванович...

И опустил руки на рану: он не зашивал, а сметывал внутренние полости, он стянул кожу и стал заштопывать только ее, верхние покровы. Он приказал:

— Освободите руки, — искусственное дыхание!

Огромное окно в операционной было открыто и в комнату шел мороз первого снега. Камфора в человека была уже впрыснута. Кокосов вместе с хлороформатором отгибал руки Гаврилова назад и поднимал их вверх, заставлял человека искусственно дышать. Лозовский штопал рану. — Лозовский крикнул:

— Физиологический раствор! —

И ассистентка воткнула в грудь человека две толстые, толщиною почти в папиросу, иглы, чтобы через них влить в кровь мертвеца тысячу кубиков жидкой соли, чтобы поддержать кровяное давление. Лицо человека было безжизненно, сине, полиловели губы.

Тогда Гаврилова отвязали от стола, положили на стол с колесиками и отвезли в его палату. Сердце его билось и он дышал, но сознание не вернулось к нему, как быть может, не вернулось до последней минуты, когда перестало биться прокамфаренное и искусственно просоленное сердце,

когда он — через тридцать семь часов — был оставлен камфорой и врачами — и умер: — быть может — потому, что до последней минуты к нему никто не допускался, кроме этих двух профессоров и сестры, но за час до того, как официально было сообщено о смерти командарма Гаврилова — случайный сосед по палате слышал странные звуки в палате, точно там перестукивался человек, как перестукиваются арестанты в тюрьмах. Там, в палате, лежал заживо-мертвый человек, прокамфаренный потому, что в медицине есть этический обычай не допускать человеческой смерти под операционным ножом.

Операция тогда началась в восемь часов тридцать девять минут и — на столе с колесиками — вывезли Гаврилова из операционной в одиннадцать часов одиннадцать минут. В коридоре тогда швейцар сказал, что профессора Лозовского дважды вызывали по телефону из дома номер первый. Профессор подошел к конторе, где был телефон, к окну, постоял, посмотрел на первый снег, покусал пальцы и вернулся к телефонной трубке, вник в ту телефонную сеть, которая имела тридцать — сорок проводов, поклонился трубке и сказал, что операция прошла благополучно, но что больной очень слаб и что они, врачи, признали его состояние тяжелым, и попросил извинения в том, что не сможет сейчас приехать.

Гаврилов умер, — то есть, профессор Лозовский вышел из его палаты с белым листом бумаги и, склонив голову, печально и торжественно сообщил

о том , что больной командир армии, гражданин Николай Иванович Гаврилов, к величайшему прискорбию, скончался в час ночи семнадцать минут.

Через три четверти часа, когда доходил второй час ночи, во двор больницы вошли роты красноармейцев и по всем ходам и лестницам стали караулы. В этот час по небу ползли облака и за ними торопилась полная, устающая торопиться, луна. В этот час в крытом ройсе профессор Лозовский экстренно ехал в дом номер первый; ройс бесшумно вошел в ворота с грифами, мимо часовых, стал у подъезда, — часовой открыл дверцу; Лозовский прошел в тот кабинет, где на красном сукне письменного стола стояли три телефонных аппарата, а за письменным столом, на стене, ротой во фронт выстроились звонки.

Разговор, бывший у Лозовского в этом кабинете — неизвестен, но он длился всего три минуты; Лозовский вышел из кабинета — из подъезда — со двора — очень поспешно, с пальто и шляпою в руках, похожий на героев Гофмана; автомобиля уже не было; Лозовский шел, покачиваясь, точно он был пьян . . . Улицы качались под луной в неподвижной пустыне ночи, вместе с Лозовским.

Лозовский — Гофманом — вышел из кабинета дома номер перый. В кабинете дома номер первый остался негорбящийся человек. Человек стоял за столом, нависнув над столом, опираясь о стол кулаками. Голова человека была опущена. Он долго был неподвижен. — Человека оторвали от его бумаг и формул. — И тогда человек задвигался. Его

движения были прямоугольны и формульны, как те формулы, которые каждую ночь он диктовал стенографистке. Он задвигался очень быстро. Он позвонил в звонок сзади себя, он снял телефонную трубку. Он сказал дежурному: — »беговую, открытую!« — Он сказал в телефон тому, кто, должно быть, спал, кто был в тройке первых, — голос его был слаб: — »Андрей, милый! еще ушел человек — Коля Гаврилов умер, нет боевого товарища. Позвони Потапу, голубчик.

Шоферу негорбящийся человек сказал: — »в больницу!«

В черных проходах стояли часовые. Дом немотствовал, как надо немотствовать там, где смерть.

Негорбящийся человек, — черными коридорами, — прошел к палате командарма Гаврилова. Человек прошел в палату — там на кровати лежал труп командарма, там удушливо пахло камфорой.

Все вышли из палаты — в палате остались: негорбящийся человек и труп человека Гаврилова. Человек сел на кровать к ногам трупа. Руки Гаврилова лежали над одеялом вдоль тела. Человек долго сидел около трупа, склонившись, затихнув. Тишина была в палате. Человек взял руку Гаврилова, пожал руку, сказал:

— Прощай, товарищ! Прощай, брат! — и вышел из палаты, опустив голову, ни на кого не глядя, сказал:

— Форточку там открыли бы, дышать нельзя! — и быстро прошел черным коридором.

ГЛАВА ПОСЛЕДНЯЯ

Вечером, после похорон командарма Гаврилова, когда отгремели трубы медных военных оркестров, отсклонялись в трауре знамена, прошли тысячи хоронящих и труп человека стыл в земле вместе с этой землей, — Попов заснул у себя в номере и проснулся в час, непонятный ему, за столом. В номере было темно и тихо плакала Наташа. Попов склонился над дочерью, взял ее на руки, поносил по комнате.

В окно лезла белая луна, уставшая спешить. Попов подошел к окну, посмотрел на снег за окном, на тишину ночи. Наташа сошла с рук Попова, стала на подоконник.

В кармане у Попова лежало письмо от Гаврилова, та последняя записка, которую он написал в ночь перед тем, как пойти в больницу. В записке было написано:

»Алеша, брат! Я, ведь, знал, что я умру. Ты прости меня, ведь, ты уж не очень молод. Качал я твою девчонку и раздумался. Жена у меня тоже старушка и знаешь ты ее двадцать лет. Ей я написал. И ты напиши ей. И поселяйтесь вы жить вместе, женитесь, что-ли. Детишек растите. Прости, Алеша!

Наташа стояла на подоконнике, и Попов увидел: она надувала щеки, трубкой складывала губы, смотрела на луну, целилась в луну, дула в нее.

— Что ты делаешь, Наташа? — спросил отец.

— Я хочу погасить луну, — ответила Наташа.

Полная луна, купчихой, плыла за облаками, уставала торопиться.

Это был час, когда просыпалась машина города, когда гудели заводские гудки. Гудки гудели долго, медленно, один, два, три — много, сливаясь в серый над городом вой. Было совершенно понятно, что этими гудками воет городская душа, замороженная ныне луною.

КОНЕЦ